



Виктор Машнин родился 31 мая 1957 г. в п. Каясан Щучанского района Курганской области. Служил в Советской армии. По комсомольской путёвке работал на Всесоюзной ударной стройке «Олимпиада-80». Учился на факультете журналистики МГУ. Работал заведующим отделом сельского хозяйства районной газеты «Звезда» в г. Щучье Курганской области. Сейчас живет в г. Шумиха Курганской области.

Виктор — прозаик, краевед. Участвовал во Всероссийском соещании молодых писателей в г. Каменск-Уральский в 2007 г. Автор сборника рассказов «Это было в прошлом веке», публикуется в местной прессе.

Виктор Машнин

Картофельный век

Фридрих Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884 г.) предположил, что в недрах железного века в истории человечества может наступить картофельный век. Когда люди, наконец, перестанут умирать от голода.

Автор

Буратино в старости

Октябрь. Падает мелкий снежок.

Мой сосед, угловатый и долговязый, бывший главный бухгалтер большого орденоносного совхоза, прилип к окну своего дома, с улицы, сквозь двойные рамы смотрит свой любимый сериал по телевизору.

Его большая русская печь, одушевлённая и строптивая скотина, пока не прогреет свои дымоходы и, если открывают дверь в избу, пукает в комнаты дымом.

Колхозный тракторист

Борщ, потом — мясной лапоть с макаронами в ту же тарелку... Компот.

В горячий борщ с озерками жира, тающим айсбергом холодной крутой сметаны падали из травы перламутровые жучки-смертники.

Он лежал животом в рослой траве. Рядом тарахтел колхозный трактор.

Держал сухими, чёрными от мазута пальцами кусок свежего хлеба. Черпал борщ, стряхивал жертвы в траву, а плотики из зелёного лука складывал на фарфоровые тарелочные карнизы.

...Очень ему нравилось это цветное кино в тарелке.

— В войну хорошо ели! Ведро картошки поставишь — ведро съем, не смотри, что маленький!.. Вот только жрать было нечего.

Писатель Чихов

В шкафу, за стеклянными колбами с мраморной фасолью, лежала стопа тонких книжек. В конце недели, на последнем уроке, Павел Кузьмич проверял дневники, а сынок учителя, Мишка Избач, делал книгообмен.

Шли драгоценные минуты почти наступившей свободы. Душа выскакивала из тела, на улицу и — возвращалась.

А важный Мишка держал над головой книжку с кудрявыми уголками, в бледной обложке от старой тетради и с рукописным названием — АНТОН ЧИХОВ, «КАШТАНКА».

Тополиная роща

И вот когда Глухая Бабка открывала свои ветхие воротца, сквозь которые давно ходили собаки, тут вырос я, как из-под земли, с тетрадкой, деревянной ручкой и чернильницей.

— А что, Бабка, трудно жилось до революции-то?! Му-чи-тель-но!!! — закричал ей в ухо, не без пафоса, поднимаясь на цыпочки.

— Да при царе-батюшке только и успела пожить, — мстительно отвечала Бабка, обнюхивая воздух вокруг красного следопыта-мучителя. (В чернильницу-непроливайку я добавил нашатыря. А вдруг ей плохо станет от горя — воспоминаний... Так, чтобы понюхала.)

«Тёмная бабка! — позднее негодовал я. — Сама говорила — негр-рамотная! История-то в гору

пошла после выстрела “Авроры”. А до семнадцатого года — так, незначительные события...»

Я стою у окна. Смотрю на тополиную рощу, запыленную снегом. Где были дворы и огороды, дома и баньки... Где жила Глухая Бабка, утерявшая фамилию ещё при жизни, за ненадобностью, и где сейчас зимуют ёжики, а по утрам, когда спят наши собаки, наступает абсолютная тишина.

Я сейчас в том двусмысленном возрасте, когда ещё снисходительно улыбаются, наблюдая, как чопорный старичок у театральных зеркал поправляет волосики яркой расчёсочкой из косметички для кукол. Мудрая птица-ворон крадёт всё блестящее.

Ржавое пятнышко

(Страничка из семейного хронографа)

Понимаю, что такая литература не делает знаменитым. Ну, да ладно. Видимо, время пришло рассказать и об этом.



12 апреля, в Святую Пасху, к вечеру я пришёл в дом к старикам. Сидели с мамой у телевизора, смотрели «Старые песни о главном». Лена — девятиклассница — у окна за ноутбуком. Ничего не слышит и не воспринимает.

На каком-то мотиве у нас с мамой вдруг полились слёзы. И неожиданно для себя я сказал:

— Ну, вот. Тебе семьдесят семь. И я — откровенный старик уже. Расскажи, наконец. Всю жизнь молчала.

И она рассказала.

— Его звали Василием. Фамилия Пономарёв, по отчиму. А так-то Смирнов. На десять лет старше меня. Высоким не был. Плотный. Крепкий. Очень работающий. Жёсткий, — мама посмотрела на меня осторожно, — как ты же. Работал бригадиром у трактористов. А меня в этот колхоз после техникума направили.

...По отношению к юной агрономше он оказался вероломным и беспощадным. Она забеременела, пришла в его дом. Осенью на трудодни им на ограду ссыпали бортовую машину зерна.

А потом... В бригаде у Василия работал знатный известный стахановец комбайнер Неустроев. Их взаимная неприязнь однажды преодолела роковую точку невозврата.

Он бил этого стахановца зверски, до полусмерти. Избил и пошёл в бега из колхоза. Остыл и сдался.

Мама у телевизора:

— Приснился мне как-то. Прощения всё просил. Помер, наверно, — душа отлетела. Я так поняла.

Справка

Дана в том, что Мошнина Зоя Михайловна с 15 августа 1956 по 15 июля 1957 работала в колхозе «Путь к коммунизму» Чистовского сельского Совета агрономом. Уволена в связи с семейными обстоятельствами согласно поданного заявления.

Подпись. Печать.

Я родился в 1957-м, 31 мая.

Мне годика четыре, или три. В нашем маленьком домике я почти хозяин. Меня все любят.

Однажды на пороге появился неизвестный. Баба Елена сдержанно о чём-то разговаривает с ним, приносит на гвоздь к умывальнику новое вафельное полотенце, ставит тарелки на стол.

Мимо меня прошла *пустота* и села спиной. Память сохранила движение, всякие мелочи... А больше ничего не сохранила.

Неизвестный ушёл.

Потом я изучал полотенце, каждую белоснежную клеточку. И вдруг наткнулся на жёлтое ржавое пятнышко.

«Смири-и-ись...» — кто сказал мне это, лет пятнадцать назад? Полушёпотом, без всякого явного повода. И, кажется, когда шли сквозь толпу.

...Да-да, он потом предал. Напугался.

«Самолёты летят — привет Мальчишу... Пароходы гудят — привет Мальчишу!»

Не сердце, а развороченный Донбасс. Точно так — донбасс.

Цепляюсь за книгу, как за гранитную скалу, болтая ногами над пропастью уныния, в одиночестве.

Не смирюсь.

Спички древнего человека

У бабки большие спичины лежат, от древних людей остались. Они этими спичками, когда-то костры разжигали.

Ещё у меня картинка была — люди мамонта из табуна встречаются. Хотел показать картинку бабке. Может, признает кого из наших — деверя там, свата какого... А она: «В книгах черти... И на сундук поползла...»

Светило солнце. Искрился снег. С восьмилетним Витькой мы сидели на саночках посреди широкой дороги.

Ножку я вытянул, другую согнул, ручки положил на коленочки, как старичок, Никита Павлович. Я жалел сейчас, что нога у меня не деревянная, с круглым, чёрным галошиком на конце.

По-доброму так, с прищуром, посмотрел я на умного своего дядюшку, и спросил:

— А трамваи были?

— Да ты тёмный совсем, — подпрыгнул Витька.

— Трамваев не было. На лошадях ездили, в бричках... Пошли, поп, мне скорее надо.

На дяденьке детская солдатская телогреечка. По снегу за ним волочились большие варежки — шубинки. А я — в пальто! В таком тяжёлом и толстом, что всегда хотелось взять ножницы и посмотреть — что там внутри?

У ворот мой дяденька сказал:

— Сей-час бе-ги! Тимошка догнать не успеет — и не укусит! У нас все гости до крыльца бегают.

Я стоял весь в снегу. Нос в испарине. Шапка с резинкой вокруг головы сидела боком. Обронённая варежка воткнута сзади за воротник.

Витька в ворота пихнул саночки, потом — меня:

— Смотри не падай!

И убежал.

Наступила ночь. Отгоняя бесов молитвами, поднялась Мырчиха.

Скрипнул сундук, потом половицы: одна-вторая, одна-вторая, зашаркала на кухню.

Из клубящейся темноты на мою подушку что-то прыгнуло. Черти лохматые, и пахнут ночным ведром... А пахло тройным одеколоном.

Двойняшка — Витькина сестрёнка — через меня дотянулась до плеча матери.

— М! — коротко и громко сказала тётка Клавдия во сне.

— А бабка военные спички понесла! — отекала ябеда.

Тётка просыпалась — медлила, зевала. Двойняшка вздрагивала, будто кто её щипал.

— Никола зимний... Молиться будет.

— Она ещё вчера сундук открывала...

Девочка положила руку на руку, с вытянутыми ладошками, на высокую подушку и на моё лицо.

— Витька, стихотворение выучил? — наконец веско спросила тётка Клавдия.

Локоток заездил по моему носу.

— В полном разгаре страда деревенская,

Долюшка русская, долюшка женская...

— Нет не выучил. Он за этим ходил.

Локтем ткнула в моё лицо.

— Целый день ходил?

— Весь день!

Я заморгал, касаясь ресницами её тёплой кожи.

Двойняшка почесалась и положила руки на место.

— А Серёжка Куприков сказал, что у кого Ленин... Владимир Ильич... на груди выколот — тех не расстреливают...

Молчание.

— А наш Витька сказа-а-а-л, — взвыла Двойняшка. — Витька сказал... Что октябрятскую звёздочку на жопе носить будет — на трусы прицепит, его ремнём бить не смогут.

Тётка сматерилась, заворочалась под одеялом, как медведица в берлоге:

— Бабкин внук!

На кухне затрещало. Под треск древней спички Двойняшка исчезла.

— Опять лучиной запахнет! Дымнуху свою вспомнила! — ворчала рядом медведица. С божнички разлилось мягкое отражение далёкого света.

Пёс прикидывается замерзающим кулаком — стонет протяжно в будке.

Натыкаясь на палки подсолнухов с сухими листьями и... головами, мимо чучела в её собственном истлевшем платке, по наметённому снегу, через весь огород, бредёт Мырчиха. За баню, с кусочком болота. До ветру.